

¹⁵ Лебедев Г. С. Эпоха викингов в Северной Европе... С. 20–22, 143–144.

¹⁶ Тенденция к усложнению хозяйственных практик, социальных структур и политических институтов в рассматриваемых регионах прослеживалась и в более ранние периоды. Так, начиная с эпохи раннего железа, в Монголии, Восточной и Северной Европе наблюдались процессы этнополитической интеграции (империя Хунну, скифы в Северном Причерноморье, германские союзы и т. д.) и культурного развития (монументальные курганы, звериный стиль). Но урбанизация и формирование разных форм государственности характерны именно для раннесредневекового периода.

¹⁷ О трактовках истории раннесредневекового периода в духе мир-системной теории и глобальной истории см., например: *Frank A. G., Gills B. E. The World System: Five Hundred Years or Five Thousand?* London and New York: Routledge, 1994. 320 pp.; *Чейз-Данн К., Холл Т. Д.* Две, три, много миросистем // *Время мира: Альманах.* Новосибирск: Сибирский хронограф, 2001. Вып. 2. Структуры истории. С. 424–448; *Уилкинсон Д.* Центральная цивилизация // *Время мира: Альманах.* Новосибирск: Сибирский хронограф, 2001. Вып. 2. Структуры истории. С. 397–423; *Гринин Л. Е., Коротаев А. В.* Социальная макроэволюция: генезис и трансформация Мир-Системы. М.: URSS, 2009. 568 с. и мн. др.

А. С. Козлов

ЕЩЕ РАЗ О ВИЗАНТИЙСКО-РОССИЙСКОМ КОНТИНУИТЕТЕ: СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ

Как известно, уже в Новое время вопрос о преемственности между Византией и Россией (прежде всего – в историософском плане, к которому, однако, сильно тяготел идейно-политический подтекст) стал привлекать в Европе пристальное внимание в связи с постепенным обострением Восточного вопроса (точнее – началом разворачивания борьбы за «османское наследство»), – при немалом влиянии на сей процесс внешней политики Екатерины II (успешные русско-турецкие войны, покорение Крыма, Греческий проект и т. д.¹). С этой тенденцией совпала и переплелась другая – взгляд (начиная с Э. Гиббона) на эволюцию другой православной страны, Византии, как на растянувшийся во времени процесс распада великой античной цивилизации, – подход, как известно, прекрасно отражавший, наряду с прочим, ощущение общественной и интеллектуальной мыслью Западной Европы грядущего «сжатия» исторической перспективы, увеличения темпов исторического развития в XIX в. Дело, однако, в том, что наряду с таким противоречивым подходом к анализу значимости византийского материала для лучшего понимания векторов эволюции всемирной истории в целом, параллельно суждениям Гиббона, восходя еще к рубежу Средневековья и Нового времени, на Западе формировалось поле узконационалистических оценок, в котором империя ромеев, а также православная Россия, не имели сколько-нибудь серьезного значения для су-

деб Европы. В схемах классификаций, вырабатываемых подобными секторами историософии, к оценкам Византии (и в значительной степени – России) добавились ставшие почти неразрывными определения «oriental» и «decadent», что означало в наборе интеллектуальных понятий того времени обладание вдвойне отрицательными свойствами. Кульминации такого рода взгляды достигли в десятилетия резкого обострения борьбы за «османское наследство», во времена Крымской войны и долгого болезненного эха Парижского трактата 1856 г.²

Нетрудно заметить, что вопрос о преемственности, континуитете между Византией и Россией обладает полисемантическим метафизическим смыслом. Одной из главнейших составляющих в поле этого смысла является понятие византизма, большинству читателей известное по работам К. Н. Леонтьева, Н. Я. Данилевского, П. А. Флоренского, В. С. Соловьева, В. В. Розанова и ряда других русских мыслителей. В художественном слове первое место в апологии этого явления справедливо отдают Ф. И. Тютчеву. То и дело следуют попытки сделать ярыми сторонниками византизма А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого³. Однако интересно другое. Работ, посвященных византийско-российскому континуитету, которые написали бы профессионалы византистики и специалисты по истории России, не существует⁴. Хотя только библиография исследований многопланового и длительного культурного, идейного и политического влияния византийской цивилизации на Русь и в отраженном свете – на Россию – составила бы несколько десятков солидных томов.

Ситуацию частично проясняет повышенное в нашей стране (и не только в ней) за последние десятилетия внимание к реанимированию проблемы преемственности между православной византийской империей и православной российской державой. Внимание это реализуется, как правило, в эклектическом переосмыслении идей вышеназванных русских философов и публицистов, сопровождаемом попытками развить отдельные их наблюдения в контексте проблем России сегодняшнего дня. Немало подобных изысканий (абсолютно разной глубины и уровня) в сети Интернет, в социологических, политологических и философских сборниках. Богата такого рода тематика и жанровым многообразием – включая нашумевший фильм-притчу «Гибель империи. Византийский урок» архимандрита Тихона (Шевкунова) и не менее нашумевший трактат Н. С. Михалкова «Право и Правда. Манифест просвещенного консерватизма». Валы критики и восторженных отзывов по их адресу, конечно, составят определенную долю в историографии как византизма, так и проблемы византийско-российского континуитета. Но для профессионала-историка такого рода явления – периферийный срез картины. И дело не только, к примеру, в конкретно-исторической некорректности той или иной фразы

Н. С. Михалкова⁵. Или – в исторических неточностях фильма отца Тихона и подгонке его материала под «идею»⁶. Дело в другом. Вопрос об интересующей нас преемственности предельно заостряется «переводом стрелок» с философско-метафизических рельс на идейно-политические.

Спектр векторов такого «перевода» многолик. Преемственность византизма, например, может изображаться в проекции теории и даже практики международных отношений⁷. Та же самая преемственность может предстать в качестве рычага для отпора цивилизационно чуждому влиянию Запада⁸. И, наконец, актуализация вопроса о византийском наследии в России в последнее время резко обостряется искусственно воссоздаваемой проблемой преемственности в тоталитарном характере двух держав – хотя представить себе тоталитаризм (систему всеобщего государственного контроля, сопровождаемого подавлением человеческой индивидуальности) при примитивных технических и социальных средствах Средневековья весьма затруднительно. Тем не менее, в современной, прежде всего западной историографии, имеющей прямое отношение к теме континуитета между Россией советской и Россией досоветской, впитавшей в себя византийское «тоталитарное наследие», под влиянием таких авторов как М. Малиа, Ф. Фюре, Э. Каррер д'Анкосс⁹ появились исследования, представившие авторитарность сталинизма как идеологический феномен именно XX столетия. Конечно, редукция этого явления к идеологии, мягко говоря, спорна, но отрадно противодействие указанных изысканий утверждениям, что тоталитарная система рождалась и развивалась из сложного переплетения опыта прошлого (в том числе – и опыта, рожденного континуитетом с древнейшими структурами типа Византии, – вплоть до «византийского склада ума» Сталина) с идеологически заданными большевиками проектами будущего¹⁰.

Глубокая критика идеи преемственности, которая включает СССР в метафизическую «вечную Россию» с ее «русской идеей», «русским путем» «судьбой» и т.д.¹¹ играет весьма конструктивную роль в том смысле, что позволяет искать иные подходы в анализе связи прошлого России с настоящим, позволяет не заикливаться на оппозиции континуитета и дисконтинуитета. Вместе с тем, такая методика дает возможность также оценить тупиковость представления о развитии советской системы как однородной самовоспроизводящейся цельности, не имеющей ни малейшего отношения к прошлому Российской (псевдо-Византийской) империи и даже выпадающей (чуть ли не в соответствии с идеями П. Я. Чаадаева) из всемирно-исторического процесса¹². Сегодня подобного рода историография также не может не учитывать тот аспект историко-антропологического подхода, который делает акцент на актуализации в действиях людей, включенных в имперские социумы, в конкретном времени и пространстве их опыта и планов на будущее. Этот метод

не отрицает континуитета, но не отрицает и возможностей разрыва с прошлым¹³. Историческая феноменология, таким образом, обязывает крайне осторожно подходить к истории России XX в. с употреблением таких клише как «имперский патернализм», «общинное распределение», «неофеодальное», «архаическое», «патриархальное» общество, ибо феноменология требует строгого установления всей цепочки связей между понятием и объектом, что в указанных примерах отсутствует¹⁴.

Совершенно ясно, что современная идейно-спекулятивная и политико-спекулятивная составляющая указанной в заглавии статьи проблемы превращает последнюю в искусственную конструкцию, обеспечивающую определенные потребности «злобы дня». Отсюда и отчуждение от этого вопроса большинства вменяемых специалистов, преданных аутентичным источниковедческим и историографическим методикам.

Продолжая рассматривать отдельные стороны несостоятельности самой постановки в конкретно-историческом плане вопроса о континуите между Византией и Россией¹⁵, в данной статье я остановлюсь только на принципиальных различиях в социальном бытии двух стран – различиях, обуславливающих невозможность, на мой взгляд, подобной преемственности. Когда речь при этом идет о русском материале, акцент, естественно, делается на Древней Руси, которая, согласно вышеназванным историософским взглядам, явилась первоначальным восприемником византизма во всех его проявлениях.

Начну с банального историографического факта. Большинство современных византинистов полагают, что оригинальность Греческого царства обуславливалась нераздельной сочетаемостью в нем таких трех основных компонентов как антично-эллинистические традиции общественной жизни и культуры, римская государственность и его правовая база, и, наконец, христианство¹⁶. На Руси (после 988 г. и далее) из этих трех компонентов в ярко выраженной форме можно обнаружить только один – третий, с весьма конкретными переработанными применительно к местным условиям атрибутами политической и художественной культуры – но даже в этом случае о восприемстве византийского христианства в полном, системном виде говорить затруднительно.

В то же время именно долговечность Византии, как и раньше, ставит очень неудобные кое для кого вопросы о возможностях внутреннего потенциала подобной якобы статичной цивилизации и о пределах, в которых византийская политическая система могла идентифицироваться как «римская» (со всеми имперско-державными и идейными последствиями), ибо преемственность с Римом оборачивалась в средневековом мышлении реальными претензиями – как в державе франков или империи Оттонов, так и в империи Карла V или в России XVI – XVII вв.

Между тем в историографии удивительно редко подчеркивается тот факт, что Византии при своем рождении (в отличие от подавляющего большинства империй древности и Средневековья) не пришлось даже в условиях краткосрочного позднеантичного экономического подъема проявлять присущее великим державам кратократическое начало, экстенсивно расширять свои масштабы за счет соседей. Российская державность в этом отношении за века непрерывного расширения и колонизации вынуждена была соответствовать логике гарантийного воспроизводственного процесса, непрерывно работать над программами приемлемого жизнеобеспечения и выигрышного взаимодействия для народов и плюралистичных социальных страт, включенных в общее политическое пространство. Византии основные алгоритмы подобных программ достались в «готовом виде», будучи разработанными двумя предшественниками – эллинистической системой и Римской империей.

У России подобных цивилизационных стартовых условий не было. Если считать организационно рыхлую (как всякое раннесредневековое европейское государство) Киевскую Русь хотя и источником «всех русских историй», но системным образованием, которое не породило, не отработало, «к несчастью», единой магистрали отечественной государственности¹⁷, то приходится признать основным таковым «застроечным комплексом» Суздальское ополье, где через преодоление удельной сегментации и ордынского сюзеренитета сошлись в борьбе за гегемонию несколько основных государств-княжеств, включая потенциального победителя в этой схватке – Московское княжество. Структура волостей как организационных, протогосударственных целостностей, структура уделов и «земель» была внутренне скреплена совершенно иначе, нежели византийские территориально-политические образования даже в эпоху после распада 1204 г. – не говоря уже о предшествующей бюрократической централизованной системе империи ромеев. В рамках удела или «земли», в отличие от киевского периода, шел самый сложный процесс активного взаимообеспечения вполне развитых городских и волостных структур. Причем в попытках максимально использовать этот процесс в своих социальных и политических интересах княжеская власть и локальные боярские корпорации хотя и боролись с городским вечевым строем и друг с другом, но, в конечном счете, оказывались заинтересованы в устройении и укреплении таких местных вариантов экономической и политической централизации, которые, совпадая с геополитическими алгоритмами развития наиболее авторитетных земель, вели к страновой консолидации на федеративных принципах в Великом княжестве Литовском и на авторитарных началах в Северо-Восточной Руси, а затем – в пространстве расширяющегося политического контроля, осуществляемого ее гегемоном, т.е. обладателем Великого Владимирского кня-

жения. При этом основные фигуранты названных процессов – вотчинно-властные организации князей и боярства, в том числе и прежде всего – их «дворы», опирающихся на местные дружинные структуры, лишь при сильно развитом воображении можно сравнивать с димосионом византийских императоров и имениями византийских династов.

Большинство специалистов по аграрной истории Византии сходятся на признании крайней медленности процесса формирования у ромеев крупного землевладения. Первоочередными причинами таких темпов, видимо, были заинтересованность государства в сохранении мощного слоя свободного крестьянства, налогоплательщика и поставщика фемных войск (наиболее выразительное проявление подобной заинтересованности, как известно – законодательство Македонской династии), а также экономический потенциал и высокая степень консолидации свободной общины – митрокомии, коинона – имевшей богатую традицию сопротивления нажиму извне (со стороны магнатов и городской, полисной верхушки), традицию, восходящую к временам эллинизма. Отсюда – отсутствие у династа больших возможностей в закабалении мелкого свободного землевладельца, решительное преобладание в имениях (ктиматах) домениальной земли, обрабатываемой рабами и мистиями (наемными работниками). Причем последние долгое время постоянными работниками в ктиматах не были. Не удивительно, что даже в XI – XII вв., видимо, у значительной части династов основную ценность в имуществе составляла не земля с париками, а денежные средства, предметы роскоши и т.п.¹⁸ При этом гражданская знать Византии периода ее расцвета в основном обладала не имениями с титулом безусловной собственности, а предоставленными казной имениями, точнее, не вещными правами на доходы с этих имений (солемнии, харистики, пронии)¹⁹, в отличие от владельцев российских вотчин и поместий. По указанным причинам медленный, заметный с X в. приток в эти имения разоряющихся свободных крестьян был притоком именно париков (они фиксируются в частных имениях с середины X в.), т.е. «присельников», не приносивших с собой в имение своего земельного надела, а потому оседавших на господскую землю и эксплуатируемых весьма жестко.

Династ совсем не походил на древнерусского боярина, ибо ни к чьей дружине отношения не имел, да и дружин в древнерусском качестве в Византии не было никогда. Он мог происходить из фемной верхушки, мог быть выходцем из провинциальной или центральной бюрократии – но в любом случае династы, в отличие от бояр, не формировали сословных корпораций, и уж тем более не были фигурантами вассально-сеньориальных связей. Механизм формирования высшей провинциальной аристократии типа родов Комнинов, Дук, Мелиссинов, Палеологов и т.п. не включал в себя обязательность министерально-подданической службы государю, подразуме-

вающей стремление попасть в состав двора (конечно – в его верхушку) и высочайше-милостивые пожалования вотчинами и чинами. Как показал А. П. Каждан, свои основные земельные владения комниновская аристократия обрела не как императорские дарения и пожалования, а в силу собственной экономической активности²⁰. На Руси установление в XII в. господства вотчинной формы землевладения, принципиально отличавшейся от византийской, стало одним из важнейших факторов, определивших не только социальную, но и в целом внутривластную структуру государства, – в том числе консервируя княжеско-дружинную систему управления. Будучи в XI в. еще относительно единой системой волостей, теперь Русь представляла из себя своеобразную федерацию земель (преимущественно – княжеств), ранее являвшихся подчиненными Киеву большими административными округами, а ныне – государственными образованиями.

В этой связи уместно напомнить, что тот же А. П. Каждан наиболее энергично и аргументировано выступал против упрощенных взглядов на византийский континуитет²¹. Подчеркивая уместность вопроса о возможности *actual continuity* на протяжении *всей* жизни Византии, а также, в случае положительного ответа на него, видя логичность постановки последующего вопроса – об основных линиях такого рода преемственности, Каждан предлагал начать ответы с анализа восприятия самими византийцами непрерывности своей истории. А вот в финале подобного исследования ученый допускал возможность анализа методики и результатов изысканий новейших исследователей континуитета. При этом Каждан оговаривал – результатов следует ждать только после сравнительного анализа итогов исследований по отдельным проблемам подобного проекта – и прежде всего на материале истории византийской культуры и социального строя империи. Сами работы А. П. Каждана и его постоянного оппонента М. Я. Сюзюмова постоянно подтверждали факт изменчивости византийской цивилизации на протяжении всей ее истории – в силу как внутренних, так и внешних причин.

Методически давно доказано, что вопрос о континуитете или дисконтинуитете в развитии явления целесообразно ставить или применительно к истории наиболее специфических фаз в этом развитии или поворотных моментов в нем. При подходе с позиций историзма первой такой фазой в истории Византии являлся переходный период от поздней античности к раннесредневековым структурам. В советском византиноведении внимание к проблематике такой фазы объективно сосредоточилось на феномене самого динамичного общественного института – города. А. П. Каждан, как известно, полагал, что одним из самых важных явлений при этом переходе был почти полный коллапс городской жизни (о чем наиболее ярко, по его мнению, свидетельствовал материал Малой Азии VII в.)²² Из

крупных западных авторитетов эту точку зрения по-своему (в том числе и на материале перемен в византийской армии) дополняют К. Манго и Д. Хэлдон²³. Многогранную картину массового упадка и даже исчезновения мелких полисов в переходный период к Средневековью, упадка средних и стагнации крупных городов (стагнации, за которой также последовал упадок) нарисовал Г. Л. Курбатов²⁴.

М. Я. Сюзюмов, наоборот, подчеркнул, что город-эмпорий, перейдя в Византию к Средневековью «в готовом виде» (со всей своей инфраструктурой и сложившимися формами товарного производства и торговли), не просто обогатил средневековую византийскую цивилизацию всеми институтами развитой античной экономики и необходимостью актуализировать в новой обстановке римское право, но способствовал тому, что подъем империи XI–XII вв. происходил уже на внутренней основе²⁵. В работах середины – второй половины 60-х гг. XX в. М. Я. Сюзюмов открыто заговорил о континуитете в развитии города и сопутствующих ему явлений (вплоть до социальной организации населения и управления) как черте, отличающей Византию от Запада²⁶. Примечательно, что в официальном византиноведении критика позиций М. Я. Сюзюмова ограничилась мнением (без приведения какой-либо серьезной аргументации) о преувеличении им значимости континуитета в византийской истории²⁷.

При этом следует учитывать, что М. Я. Сюзюмов понимал континуитет не как неизменную непрерывность, а как меняющуюся преемственность в историческом развитии.

Как бы то ни было, урбанизация Киевской Руси не имела никакой преемственности с византийской (если не считать строительства православных храмов, причем кое-где – еще до 988 г., в подавляющем числе – деревянных, в архитектурных и оформительских стилях, сходных с греческими, но корректируемых местными ресурсами и традициями). В отличие от византийского города, не имевшего самоуправления, целиком зависимого от имперской администрации, древнерусские города XI – XIII вв. в подавляющем большинстве являлись самоуправляющимися общинами (образовавшимися, скорее всего, как и гражданские общины древнего мира, в результате слияния определенных позднепервобытных сельских территориальных общин, к которым генетически восходили городские концы, отслеживаемые не только в Новгороде, но и в Пскове, Старой Руссе, Ладоге, Кореле, Смоленске, Ростове, Киеве)²⁸, в чью внутреннюю жизнь княжеская администрация почти не вмешивалась. Горожане, как и граждане деревенских миров, только по ряду случаев подчинялись суду княжеских посадников и платили князю дань. Примечательно, что городские ополчения Руси имели некоторые формальные сходные черты с классическими фемными ополчениями Византии «темных веков», являясь

важной частью вооруженных сил государства, хотя и не на такой постоянной основе, как византийские фемы.

Византийский город, разумеется, не обладал, в отличие от древнерусского, такими архаичными (восходящими к позднепервобытной территориальной общинной системе) социальными (а значит – ополченческими) ячейками, как сотни. Известно, что княжеская власть, назначая сотских и тысяцких, пыталась тем самым создать рычаги для подчинения горожан своему контролю. Для византийской центральной власти проблемы такого контроля до XIII в. не существовало. Ряд специалистов считает, что даже в правление Комнинов, в период кратковременного подъема византийского провинциального города, в империи не сложилась крепкая автономная городская община, самостоятельные сословия ремесленников и купцов, а значит – какие-то элементы участия горожан в городском управлении, не говоря уже – в политической жизни страны.

Огромные мобилизационные возможности централизованной бюрократической Византии (прежде всего – в виде жесткого контроля над ресурсами деревни и города) в совокупности с ее морским геополитическим положением резко повышали степень обороноспособности государства. Наоборот – геополитическое положение средневековой Руси и России изначально определялось естественной открытостью ее границ, не защищенных горными массивами или морями и уж тем более – не защищенной системой каменных городов-крепостей, как в Византии. Последствия этого в период создания Монгольской империи трудно переоценить. «Татарский выход» с русских земель, преимущественно с огромной территории Северо-Востока с его слабой плотностью населения²⁹, по сообщению Плано Карпини, составлял ежегодно 1/10 имущества и 1/10 населения, что за 10 лет в совокупности оказывалось равноценным исходному количеству всего имущества и всего населения³⁰. Согласно летописному сообщению от 1384 г., дань Орде платилась из расчета «съ всякие деревни по полтине» (ПСРЛ. Т.VIII. С.49). К этому следует присовокупить уникальное сообщение В. Н. Татищева о доставке «выхода» в Орду в 1275 г.: размер дани составлял «по полугривне с сохи». Если взять за основу новгородскую полугривну (в 102 г. серебра) и тот факт, что среднестатистический работник XV в., время от времени трудившийся за плату, с трудом мог заработать такую сумму в течение года, то иначе как грабежом, не оставлявшим возможности для нормального воспроизводства хозяйства, такую дань назвать нельзя³¹.

Кроме того, нельзя не учитывать масштабы перманентного военного давления на русские земли с Запада и со стороны Орды вплоть до конца XV в. Приведу только один пример. По скрупулезным подсчетам А. Астайкина, за период с 1237 по 1480 гг. среднестатистический житель Северо-Восточной Руси в течение своей жизни испытывал или наблюдал 17

ордынских набегов, хотя удары наносились по разным русским землям далеко не равномерно и с разной силой³².

Источники не дают основания говорить о подобных нагрузках и выпусках применительно к Византии. Морское положение страны делало для ее врага проблематичным ведение успешных операций без сильного и умело управляемого флота, что продемонстрировала, прежде всего, борьба с арабами и особенно исход экспедиции Масламы. Уязвимость дунайского и восточно-малоазийского направлений компенсировалась строительством крепостей, централизованно организованной изощренной дипломатией (построенной на долгом опыте общения Римской империи с задунайскими варварами, парфянами и персами), умелым натравливанием противников империи друг на друга. Дорогостоящие дары и даже дани, которые империя вынужденно предоставляла в определенные десятилетия гуннам, болгарам, печенегам и т.д. источники не характеризуют в терминах и фактах, обладающих негативно-катастрофическим содержанием – в отличие, например, от сообщений и пафоса «Песни о Щелкане» и мотивационно схожей с ней информации русских летописей. Для византийского государства эти платежи не были столь же долговременными и тягостными как ордынские «выходы» и повинности для Руси³³.

Что касается таких мобилизационных составляющих как налоги и армия (которые наиболее чутко реагируют на перемены в государстве снижением или повышением своей эффективности), то, как известно, в Византии им пришлось кардинально меняться, начиная с VII в. – и именно в этих сферах проблема континуитета оказывается наиболее деликатной. Наиболее традиционное в византистике представление о формировании фемной системы восходит к Г. Острогорскому: инициатива в создании этих территориально-административных единиц, где стратеги отвечали за формирование войск, принадлежит Ираклию.

В то же время даже на сегодняшний день специалисты дружно соглашались с тем, что детали генезиса фем остаются крайне неясными, хотя результат представляется не вызывающим серьезных споров в его интерпретации: комплектование армии было децентрализовано, возник совершенно новый class of soldiers с обязанностями службы – социально-сословная страта, порождаемая свободными общинами. Острогорский видел в этом принципиальную экономическую и военную реформу, связанную с возвышением свободного крестьянства и дистрибуцией земельных наделов в качестве «стратиотских наделов» взамен позднеантичной рекрутчины. Уязвимость этой концепции заключается в трудности корректно увязать такую систему комплектования с данными «Земледельческого закона», которые тяжело скорректировать с обеспечением стасями в рамках стратиотского землевладения или с ранними датами существования подобной системы.

Действительно, первые надежные свидетельства о «стратиотских наделах» относятся к X в.³⁴. Никто уже не отрицает существования в ранневизантийский период наряду с колонами, слоя свободных мелких землевладельцев, однако в литературе не редкость сомнения в весомости акцента Г. Острогорского на решительном преобладании этого слоя на рубеже поздней античности и «темных веков». Как правило, эта категория специалистов видит влияние на концепцию Острогорского двух основных клише. Во-первых, это уверенность в решительном преобладании рабов или, по крайней мере, полусвободного люда среди сельского населения в позднеримский период. Во-вторых, это соединение таких явлений как «свободное крестьянство» и «славянское происхождение» значительной его части. До сих пор остаются весьма непростыми вопросы о степени преднамеренности реформы военной системы (включая сюда формирование фем и стратиотских стасей, а также вопросы эволюции обеспечения армии). По-прежнему ряд специалистов сомневается в соотношении этой реформы со временем Ираклия³⁵. В связи с этим уместно заметить, что некоторые исследователи считают небезысвестных коммеркиариев, которым принадлежит изрядное количество дошедших до нас печатей (первые из которых относятся к середине VII в.) чиновниками, ответственными за склады или за обеспечение армии с этих складов (пополняемых на средства от налогов); также возможно, что коммеркиарии были частными лицами, выполнявшими подобные функции для государства – подобно откупщикам³⁶. Те же специалисты констатируют, что солдаты по-прежнему получали от государства определенную плату, которая, однако, была значительно меньше, чем в VI в. (одно из отражений серьезного падения государственных денежных доходов к концу VII в.). С другой стороны, «Эклога» (VIII в.) и житие Филарета (начало IX в.) дают основание полагать, что солдаты имели собственное оружие, броню и коня³⁷.

Дисконтинuitет можно усматривать в том, что стратиги, в отличие от командующих поздней античности, сосредоточивали в своих руках и военную и гражданскую власть, что создавало потенциально опасную для Константинополя комбинацию. Многие специалисты отмечают, что фемная система создавала, в отличие от поздней Римской империи, подлинно провинциальные, локализованные армии, так как основной принцип системы базировался на обеспечении солдата земель, на доходы с которой он жил и экипировался. Процесс продажи таких земель, начавшийся со временем, ставился под контроль законодательства, но, тем не менее, рост потребности государства в тяжелой кавалерии вынуждал стратиотов требовать или большего земельного обеспечения или большей руги. Известны серьезные проблемы с поисками источников доходов для этих целей при Никифоре II, что было связано с резким возрастанием затрат на армию, причем напря-

женность ситуации прекрасно иллюстрируется болезненностью вопроса об освобождении стратиотов от налогов (вопроса, отразившегося в трактате «Стратегика» и в конкретных шагах Никифора II, освободившего от обложения не только самих катафрактариев, но даже их слуг).

Безотносительно решения вопроса о происхождении фем, сама фемная система обладала огромным этатистским зарядом. Многие специалисты считают, что она способствовала сохранению Византии как централизованного бюрократического государства, способного эффективно (по меркам того времени) собирать налоги и содержать армию. Но нельзя не признать, что эта же сторона этатистско-значимой роли фемной системы делало военную службу эффективным средством для достижения личного престижа и общественного влияния. «Παραστάσεις σύντομοι χρονικάί» («Краткие исторические записки»), сочинение, скорее всего, последней четверти VIII в., описывающее (зачастую в фантастических картинках) топографию Константинополя, дает ясное представление о возможном резком сокращении в это время информативных потоков, откуда черпали знания грамотные византийцы³⁸. Это свидетельствует о редуцировании светского образования как средства к совершению карьеры. И хотя на рубеже VIII–IX вв. начинают развиваться новые перспективные карьерные структуры, за время их становления успел сформироваться the military class (выражение Д. Хэлдона), который включал в себя не только фемную верхушку, но и верхушку тагм, которых иногда называют «гвардейскими полками» того времени, отличавшихся высоким профессионализмом³⁹.

Авторитарная централизация была одним из источников способности империи выжить через перестройку армии и госаппарата также благодаря отступлению на свои основные эллинизированные территории, размеры которых, как подметил Крис Уикхам, выглядят «парадоксом охваченного кризисом государства, которое сумело сохранить давнишнюю фискальную систему»⁴⁰. Большинство специалистов по истории византийской государственности сходятся на том, что за переходный период к Средневековью весьма дифференцированная налоговая система была оптимально скоординирована с ситуацией, ибо в ее основу были заложены капникон (налог на очаг) и синона (натуральный поземельный налог).

Исходя из подобного рода фактов, Н. Икономидис, исследуя монетарную систему империи IX – XI вв., пусть с преувеличением, но назвал ее «командной экономикой» (command economy) – экономикой, возможной только в условиях бюрократической централизации⁴¹. Подобные оценки производят впечатление на неискушенного читателя, тем более что у того могут возникнуть ассоциации со сталинской или маоистской экономической системой. Нельзя, однако, забывать, что налоговая система Византии на всех этапах ее истории была не только крайне прагматичной,

но и содержала немало аномалий. Так, согласно официальным документам, скрупулезный налоговый учет осуществлялся по каждой области империи отдельно, но при дотошном анализе тех немногих актовых материалов, которые до нас дошли, в изыществе этих цифр, как убедительно показывают специалисты, видно больше показухи, нежели реальных фактов⁴². Нельзя не принять во внимание вытекающий отсюда вывод, что степень эффективности налоговой системы на местном уровне ни в коем случае нельзя преувеличивать, а значит – нельзя говорить о урегулированности этой части государственной машины в целом.

Тем не менее, результаты работы налогового пресса в классической Византии были впечатляющими. Польский исследователь А. Поппэ предположил, что годовой бюджет империи в XI в. составлял 7 млн номисм (сложнейшая проблема соотношения разных видов и чеканок этой золотой монеты весьма далека от удовлетворительного решения; средний вес ее в X–XI вв. равнялся 3,79–4,55 г)⁴³. Г. Г. Литаврин, возражая Поппэ, резонно утверждал, что только 2–2,5 млн крестьянских семей ежегодно поставляли в виде налога более 7 млн золотых⁴⁴.

Попробуем сравнить ситуацию с Русью. Ярослав Владимирович, будучи наместником отца в самой «сереброносной», Новгородской земле, собирал здесь ежегодно 3 тыс. гривен, из которых 2 тыс. отправлял в Киев, а 1 тыс. в Новгороде «гридемъ раздаваху» (ПСРЛ. СПб., 1848. Т. 1. С. 56). Если признать верным толкование И. Я. Фрояновым известного места из Введения к Начальному своду (жалобы дружины: «Мало есть нам, княже, двусот гривен»), т.е. принять, что 200 гривен были для XII в. «обычным окладом жалованья дружинника»⁴⁵, – то возникает вопрос – каким числом дружинников мог располагать Ярослав в Новгородской земле? Может быть, речь в Лаврентьевской летописи шла о тысяче гривен, раздаваемой только элитной части дружины?

Для сравнения укажу на другой факт. Согласно наблюдениям А. А. Зимина над текстом Уставной грамоты Ростислава Смоленского (середина XII в.), княжеские доходы исчислялись суммой свыше 4 тысяч гривен (при том, что многие подати в грамоте точно не обозначались) (ПРП. Вып. II. С. 45). Ежегодная же дань «варягом мира деля», установленная в 882 г., как известно, составляла 300 гривен, позволяя, по меткому наблюдению Г. С. Лебедева, установить соотношение между «заморским» и «княжеским» потенциалом (если помнить 1 тыс. гривен, раздаваемую Ярославом новгородской дружине) – 3:10⁴⁶. Понятно, что уровень платежеспособности древнерусских волостей в IX–XII вв. был совершенно разным; одно дело – урбанизированный Юго-Запад, другое – громадный, слабо заселенный, с разбросанными среди болот крошечными городами Северо-Восток. Поэтому проецировать названные цифры на всю совокупность

земель Руси при совершенно разной плотности населения в волостях и неизвестности потенциала разных земель на разных фазах древнерусской истории было бы грубой ошибкой⁴⁷. Приводимые здесь размеры даней трудно соотносимы из-за разницы в характере источников, их сообщающих, – ибо нельзя без множества оговорок сравнивать сведения юридического документа, Уставной грамоты, с насыщенными фольклорным зарядом сведениями летописей⁴⁸. Тем не менее, при всей относительности подобных цифровых сведений они совершенно несопоставимы с предполагаемым Поппэ и Литавриным годовым доходом Византии XI в.

Гигантская разница между Русью и Византией в возможностях мобилизации доходов определяла существенные различия в государственных расходах, в том числе, и прежде всего, в такой затратной отрасли как формирование вооруженных сил. В отличие от Византии, где фемные ополчения не были связаны преемственностью с позднеантичной рекрутчиной, древнерусское войско X–XII вв. восходило к военному строю восточных славян более раннего периода⁴⁹, когда основной вооруженной силой был сам народ, свободные общинники, формировавшие ополчение по военно-учетному принципу «сто» – «тысяча» – «тьма»⁵⁰. Наступательные и оборонительные войны, ведущиеся прежде всего руками «воев», достигнув особого размаха при Святославе Игоревиче, были возможны только при ополченческом принципе формирования вооруженных сил, при достаточно крепких индивидуальных хозяйствах массы больших семей внутри «вервей» и «миров». Правда В. Т. Пашуто, писавший о городских ополчениях Киевской Руси, не говорил об их генезисе, преемственности с позднепервобытными ополчениями, о термине «вои» и т.д.⁵¹. С. Франклин и Дж. Шеппард вообще считают, что «термин ... “вои” – слишком неопределенный, чтобы можно было строить на нем какую-то теорию относительно социальной базы для вербовки воинов»⁵². Полагаю, аргументация И.Я. Фроянова на этот счет достойна самого пристального внимания⁵³, – иначе не понять массовости войск Древнерусского государства в походах на Волжскую Булгарию, Хазарский каганат, в двух масштабных экспедициях за Дунай при Святославе, вторжении в Юго-Западный Крым при Владимире и т.д. Не понять тогда и резкого спада такой агрессивной политики после Владимира, – а ведь сам по себе напрашивается вывод о перенапряжении массы мелких хозяйств «людей» Русской правды, участвовавших в таких долговременных экспедициях на ополченческих принципах, что могло стать одним из источников социально-политических внутренних осложнений как после гибели Святослава так и после смерти Владимира Святославовича⁵⁴.

Можно также согласиться с теми специалистами, которые не склонны резко противопоставлять дружинный элемент и ополчения «воев», осо-

бенно на ранних этапах складывания Древнерусского государства⁴⁵, так как формирование дружин в эпоху поздней первобытности и цивилизации не противоречит «военной демократии» с ее принципом «народа-войска», являющегося одновременно основным субъектом народного собрания. Другое дело, что в процессе своей эволюции дружина выросла к XI–XII вв. в элиту, правящую прослойку древнерусского общества, или уничтожив, или абсорбировав местную родо-племенную знать. Основная функция дружины – коллективное управление обществом, оттеснив на второй план самоуправление городских и сельских общин, даже отдаленно не напоминает управленческие механизмы бюрократической Византии, возглавляемой иерархичным императорским двором. Усложнение дружинной структуры, ее дифференциация на «старшую» и «младшую» – с системой единовременных поручений (вплоть до наместничеств в ведущих «градах»), – подкрепленное ростом юридического отделения от остального свободного населения, не идет ни в какое сравнение с системой служилых чинов в Византии, так и не сложившихся в нечто подобное сословной, вассально-сеньориальной системе европейского типа. Можно бесконечно пытаться найти поверхностные соответствия с такой системой в росте значимости тех групп русского общества XIII–XV вв., которые были связаны со «служебной организацией» и особенно со структурой государева двора. Превращение дружинников в вотчинников абсолютно не походит на процессы формирования династов в Византии, а формирование сословных групп, затянувшееся до появления Соборного уложения 1649 г., вообще не находит аналогов в византийской истории.

Таким образом на древнерусской почве не существовало социальной базы для того, чтобы раннесредневековая православная государственность Восточной Европы (а в перспективе – и Россия) могла стать восприимчивой византийской имперскости, ориентируясь на последнюю как на социально-экономический и управленческий образец или как на военную, с глобальными претензиями, державу. Отсюда и встает вопрос – как же Русь-Россия могла заимствовать у Греческого царства некую «духовность», имперскую авторитарность и иные, связанные с аналогичными вещами атрибуты?

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ См.: *Тиктопуло Я.* Мираж Царьграда // *Родина*, 1991. № 11–12. С.58; *Маркова О. П.* О происхождении так называемого «Греческого проекта» // *История СССР*, 1958, № 1. С.35–36; *Коршунова Н.* Восточный вектор геополитики Екатерины II: «Греческий проект» // *Вестн. Челяб. ун-та. Серия 10. Востоковедение. Евразийство. Геополитика*. 2003. №1. С.62–69. Ряд западных авторов, излагающих историю «крупными мазками» до сих пор пишут, что Екатерина II строила планы восстановления Византийской империи. См., например: *Hatt C.* Catherine

the Great. London, 2002. P.62. Об использовании при Екатерине II «воспоминаний» о православной Византии для идейного оформления некоторых сторон политики в Восточном вопросе см.: *Ragsdale H. Russian Projects of Conquest in the Eighteenth Century // Imperial Russian foreign policy / Ed. H. Ragsdale. Cambridge, 1993. P.91–100; Madariaga I., de. Russia in the age of Catherine the Great. London, 2002. P. 407–8, 431; Kenney James J. Jr. The Politics of Assassination // Paul I: A Reassessment of His Life and Reign / Ed. H. Ragsdale. Pittsburgh, 1979. P. 139.*

² Об увязывании такого рода взглядов с преемственностью внешней политики России и даже Советского Союза см., например: *Uebersberger H. Russlands Orientpolitik in den letzten zwei Jahrhunderten. Stuttgart, 1913. Band 1. Bis zum Frieden von Jassy. S. 372–373; Salomon R. La politique orientale de Vergennes, 1780–1784. Paris, 1935. P. 63–65; Ragsdale H. Montmorin and the Greek Project: Revolution in French Foreign Policy // Cahiers du monde russe et sovietique, 1986. 27. P. 27–44.*

³ Из современных дефиниций византизма мне представляется наиболее заслуживающим внимание определение, даваемое А. А. Бачининым: «Понятием византизма в русской мысли стал обозначаться обширный культурно-исторический комплекс идей и соответствующих им форм социальной практики. Это были идеи религиозные, государственно-политические, философско-нравственные и художественно-эстетические. Их главная отличительная особенность заключалась в том, что, во-первых, они генетически восходили к образцам Византийской цивилизации, а во-вторых, в них отчетливо проступали социокультурные отличия российской цивилизации от европейского Запада. То есть в целом печать византизма означала, что на социальном теле и на духе российской цивилизации отчетливо проступали ее отличия от христианских цивилизаций западного типа». См.: *Бачинин В. А. Византия и византизм // В. А. Бачинин. Христианская мысль: социология, политическая теология, культурология. Санкт-Петербург, 2004. Т. I, С. 84.*

⁴ Даже когда И. Мейендорф пишет о Московской Руси XIV в. как о возможной преемнице Византии, то имеет в виду отражение тогдашних взглядов на Русь как на потенциальный оплот православия. См.: *Мейендорф И. Византия и Московская Русь, Очерк по истории церковных и культурных связей в XIV веке. Paris, 1990. С. 128–129.*

⁵ Например: «Российская Империя повторяла путь Империи Византийской. Волей императоров все больше становилась она “Великой Россией” и все меньше оставалось в ней “Святой Руси”».

⁶ Абсолютно прав С. Г. Кара-Мурза, возражая критикам: «Ведь это не учебный фильм. Не профессор в очках дает в нем объяснения, а священник с бородой и в рясе. Другой жанр, другая задача, на других струнах ума и души играет автор. Критика должна быть адекватна произведению». См.: *Кара-Мурза С. Россия – это Византия сегодня? // С. Кара-Мурза. Кого будем защищать. М., 2009. С.81–82.*

⁷ Так, А. Р. Геворкян (философский факультет МГУ) пишет: «Отнюдь не упущая крайне сложную международную обстановку, особенно неблагоприятную для России, вместе с тем невозможно обойти стороной тот факт, что византистская (у автора именно так. – А. К.) политика на всех спектрах византийского направления является пробным камнем для возрождения величия России. Только

активизируя себя на византийском направлении, Россия может вернуть утраченные ею мировые позиции, что позволит ей выступать на равных в решении судьбоносных международных проблем с такими гигантами как США, Германия, Китай». См.: *Геворкян Р.* Историческая концепция византизма // ФН, 2004, № 12. С. 88–100. См. также его работы: Либерализм и византизм в контексте исторического христианства // ФН. 2006 № 4; Идеи развития и прогресса в учении Н. К. Леонтьева о византизме // ФН. 2006. № 9; Социализм как воплощение идей византизма // ФН. 2007. № 2.

⁸ В одном из разделов весьма солидной монографии А. Г. Дугина, названной «Абсолют византизма», содержатся следующие тезисы: «Нашей самой прочной базой является Византия», иначе говоря, с богословской точки зрения – «Православие – это Византия. Россия – это Византия. Рим изначально уклонялся от симфонии властей и правильного духовного пути. Все этапы ухудшения отношений между Византией и Римом вплоть до раскола Церквей отмечены прогрессирующим отпадением Запада от богословских и социальных основ истинного Христианства». Стилистика текста Дугина в данном случае такова, что отличить его наблюдения над такого рода богословскими констатациями от его собственных соображений довольно трудно. Поэтому приведу более обширную цитату: «Наша формула: Запад – зло, Византия – добро. Все, что написано о Византии плохого – ложь. Это лишь приемы идеологической борьбы со стороны Запада. Католицизм – наш непримиримый враг. Никакой альянс с ним невозможен. Разве ценой его полной и безоговорочной капитуляции перед Православием. В русской исторической традиции к Византии сплошь и рядом негативное отношение, повторяющее инсинуации Запада. Каждый русский должен знать, что Византия – чистое добро. Всякий, кто утверждает нечто иное, – враг. Быть может, вопрос не стоял бы так остро, не будь мы в такой страшной и подавленной ситуации. Теперь же нам не до нюансов. Критикуешь Византию – враг русского народа. Рискуешь получить. Такова должна быть наша железная установка. Установка на Византию». Аргументация этих положений – нестрогая, Дугин ссылается на капитальный труд Ф. И. Успенского «История Византийской империи», утверждая, что там подобные тезисы развиты более подробно (*Дугин А. Г.* Русская вещь. М., 2001. Т. 1). Не говоря уже о том, что подобный ригоризм крупному российскому византисту всегда был чужд, во всех его трудах (а не только в знаменитом трехтомнике) немало той самой «критики», против которой так восстает Дугин.

⁹ См., например: *Малюк М.* Советская трагедия. История социализма в России, 1917–1991 / Пер. с англ. М., 2002; *Фюре Ф.* Прошлое одной иллюзии / Пер. с франц. М., 1998; *Carrère-d'Encausse H.* L'URSS de la Révolution à la mort de Staline, 1917–1953, Paris, 1993; eadem. La Russie inachevée, Paris, 2000.

¹⁰ См., например: *Фицпатрик Ш.* Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 30-е годы: город / 2-е изд. М., 2008. С. 37; *Kotkin S.* Magnetic Mountain. Stalinism as a Civilization. Berkeley, 1995. P. 6–11, 19; *Вушневский А.* Серп и рубль. Консервативная модернизация в СССР. М., 1999. С. 225–232. См. также: *Кондратьева Т.* Кормить и править. О власти в России XVI–XX вв. М., 2006. С. 23–73.

¹¹ См. в качестве методического примера такой критики: *Зверева Г. И.* «Присво-

ение прошлого» в постсоветской историософии России (Дискурсный анализ публикаций последних лет) // Новое литературное обозрение. 2003. № 59. С. 540–556.

¹² См., например: *Besançon A.* Présent soviétique et passé russe. Paris. 1980.

¹³ См.: *Рикер П.* Память, история, забвение / Пер. с франц. М., 2004. С. 316 и след.

¹⁴ См. в качестве примеров: *Кобищанов Ю. М.* Теория большой феодальной формации // ВИ. 1992. № 4–5; *Яковенко И. Г.* Сталинизм. Границы явления // Свободная мысль. 1993. № 3. С. 13–44; Сталинизм как всемирно-историческое явление: закономерность, угроза, вызов. Томск, 1992; Необычное дело // Свободная мысль. 1993. № 2; *Седов Л.* И жрец и жнец. К вопросу о корнях культа Вождя // Осмыслить культ Сталина. М., 1989. С. 471 и след. С позиций исторической феноменологии недопустимой модернизацией оказывается стремление увидеть в сталинской властной системе слепок с системы феодальной, прежде всего предусматривающей рассеянный суверенитет и вассально-сеньориальные отношения с парадигмой взаимных обязательств их контрагентов. Поэтому нонсенсом, например, выглядит заявление М. Восленского относительно природы номенклатуры, складывавшейся, как известно, в 20–30-е гг. XX в.: «Даже когда номенклатурная система представлялась новой, она была в действительности очень древней. Она была лишь попыткой умирающего феодализма увековечить себя под видом монополистического государственного феодализма» (*Voslensky M.* Les nouveaux secrets de la nomenclatura. Paris, 1995. P. 411). Вряд ли возможно представить себе договорный характер отношений между Сталиным и отдельными членами номенклатуры, а также полунезависимость местных партийно-государственных работников от центра в 20–50-е гг.

¹⁵ См.: *Козлов А. С.* Европейский миф о Византии и вопрос о византийско-российском континуитете // *Imagines mundi.* Альманах исследований всеобщей истории XVI–XX вв., № 8. Сер. Альбионика. Вып. 4. Екатеринбург, 2011.

¹⁶ См.: *Beck H.-G.* Res Publica Romana. Vom Staatsdenken der Byzantiner // Bayerische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse. Sitzungsberichte. Jahrgang 1970. H. 2. S. 33–87; *Karayannopoulos J. E.* Η πολιτική θεωρία τών Βυζαντινών // Βυζαντινά, 1970. Φ. 2. Υ. 37–61, 137; *Zakythinos D.* La synthèse byzantine // Les peuples de l'Europe du Sud-Est et leur rôle dans l'histoire. Sofia, 1966; *Ahrweiler H.* L'idéologie politique de l'Empire byzantin. P., 1975; *Runciman S.* The Byzantine Theocracy. London, 1980; *Dvornik F.* Early Christian and Byzantine Political Philosophy: Origins and Background. Washington, 1966. Vol. 1–2; *Dagron G.* L'Empire Romain d'Orient au IVème siècle et les traditions politiques de l'hellénisme: Le témoignage de Thémistios // Travaux et Mémoires. 1968. 3. P. 1–242; *Курбатов Г. Л.* Политическая теория в ранней Византии. Идеология императорской власти и аристократическая оппозиция // Культура Византии: IV – первая половина VII в. М., 1984. С. 98–118.

¹⁷ *Ильин В. В.* Российская государственность: истоки, традиции, перспективы. М., 1997. С. 142.

¹⁸ *Литаврин Г. Г.* Византийское общество и государство в X–XI вв. Проблемы истории одного столетия: 976 – 1081 гг. М., 1977. С. 96.

¹⁹ *Каждан А. П.* Социальный состав господствующего класса Византии XI–XII вв. М., 1974. С. 200 и след.

²⁰ Там же. С. 185 и след., 196 и след.; его же. Характер, состав и эволюция господствующего класса Византии XI–XII вв. Предварительные выводы // *BZ*, 1973. Bd. 66. H.1. С.47–60.

²¹ См.: *Kazhdan A., Constable G. People and Power in Byzantium: An Introduction to Modern Byzantine Studies*. Washington, DC, 1982; *Kazhdan A., Epstein A. Change in Byzantine Culture in the Eleventh and Twelfth Centuries*. Berkley, Los Angeles, 1985.

²² См.: *Каждан А. П. Деревня и город в Византии IX–X вв. Очерки по истории византийского феодализма*. М., 1960, особенно – С. 260–274.

²³ См., например: *Mango C. Byzantium: The Empire of New Rome*. L., 1980. P. 60–73; *Haldon J. Byzantium in the Seventh Century: The Transphormation of the Culture*. Cambridge, 1990. P. 92–124.

²⁴ Прежде всего см.: *Курбатов Г. Л. Основные проблемы внутреннего развития византийского города в IV–VII вв. (Конец античного города в Византии)*. Л., 1971; *Курбатов Г. Л., Лебедева Г. Е. Византия: проблемы перехода от античности к феодализму*. Л., 1984. С. 45–61.

²⁵ См., например: *Сюзюмов М. Я. Роль городов-эмпориев в истории Византии* // ВВ. 1956. Т. VIII. С. 26–41; *Он же. К вопросу об особенностях генезиса и развития феодализма в Византии* // ВВ. 1960. Т. XVII. С. 3–18; *Он же. Некоторые проблемы истории Византии* // ВИ. 1959. № 3. С. 98–117.

²⁶ См., прежде всего: *Сюзюмов М. Я. О роли закономерностей, факторов, тенденций и случайностей при переходе от рабовладельческого строя к феодализму в византийском городе* // АДСВ. 1965. Вып. 3. С. 5–16; *Он же. Византийский город (середине VII – середина IX в.)* // ВВ. 1967. Т. XXVII. С. 38–70.

²⁷ *Удальцова З. В. Советское византиноведение за 50 лет*. М., 1969. С. 205.

²⁸ *Фадеев Л. А. Происхождение и роль системы городских концов в развитии древнейших русских городов* // *Русский город (историко-методологический сборник)*. М., 1976. С. 19, 31; *Янин В. Л., Алешковский М. Х. Происхождение Новгорода (к постановке проблемы)* // *История СССР*, 1971, № 2. С. 56, 60; *Никитский А. И. Очерк внутренней истории Пскова*. СПб., 1873. С. 87; *Арицховский А. В. Городские концы в Древней Руси* // *Исторические записки*, 1945, 16. С. 11–12.

²⁹ По разным подсчетам, даже в середине XVI в. плотность российского населения колебалась в пределах 3–5 человек на 1 кв. км., в Польше – 21 чел., во Франции – 30 чел.

³⁰ Ср.: *Кучкин В. А. Русь под игом: как это было*. М., 1990. С. 12.

³¹ См.: *Кузьмин А. «Со всякие деревни по полтине...»* // *Родина*, 2003, № 11. С. 83–85.

³² *Астайкин А. Летописи о монгольских вторжениях на Русь: 1237–1480* // «Арабески» истории. М., 1993. Вып.3–4. *Русский разлив*. Т. 1. С. 539–540. В связи с изложенными фактами можно отметить, что данные источников о размерах «выхода» (типа сообщения Карпини) и работы типа аналитической статьи А. Астайкина или коллективной академической монографии «Татаро-монголы в Азии и Европе» (М., 1977) просто игнорируются теми, кто выражает сомнение в факте ордынского ига на Руси. См., например: *Нефедов С. А. А было ли иго?* // *Урал индустриальный*. Екатеринбург, 2001. С. 24–33.

³³ Показательна хотя бы эволюция оформления договора 907 г. с Олегом, когда ромеи сумели снизить фиксируемую дань-контрибуцию до 12 гривен «на ключ», – при наличии под стенами Константинополя 2 тыс. кораблей древнерусского ополчения. См. Горский А. А. К вопросу о русско-византийском договоре 907 г. // Восточная Европа в древности и средневековье. Международная договорная практика Древней Руси. М., 1997. Ср. подробное обоснование другого мнения: Сахаров А. Н. Дипломатия Древней Руси. М., 1980. С. 81–146.

³⁴ Haldon J. Byzantium in the Seventh Century. P. 208–220; *idem*. Military Service, Military Lands and the Status of Soldiers: Current Problems and Interpretations // DOP, 1993. 47. P. 1–67. См. также: Whittow V. The Making of Orthodox Byzantium 600–1025. Berkley, Los Angeles, 1996. P. 113–121. В связи с этим следует указать, что К. Уикхам в своей последней объемной монографии, вызвавшей восторг у большинства западных специалистов, отрицает серьезность славянского влияния на «стратиотский контекст» «Земледельческого закона». См.: Wichham C. Framing the Early Middle Ages: Europe and the Mediterranean 400–800. Oxford, 2005. P. 463.

³⁵ Как пример методики постановки и попыток решения этих вопросов (при увязывании реформы с правлением Констанса II) см.: Treadgold W. Byzantium and its Army 284–1081. Stanford, 1995. P. 21 – 25, 171 – 173.

³⁶ Н. Икономидис полагает, что коммерции главным образом занимались торговлей шелком. См.: Oikonomidis N. Silk Trade and Production in Byzantium from the Sixth to the Ninth Century: the Seals of Kommerkiarioi // DOP, 1986. 40. P. 33–53. Иное мнение см.: Haldon J. F. Byzantium in the Seventh Century. P. 235–238; Treadgold W. Byzantium and its Army. P. 181–186.

³⁷ См.: Haldon J. F. Byzantium in the Seventh Century. P. 173 ff.

³⁸ О «Παραστάσεις» см.: Constantinople in the Eighth Century: the Parastaseis syntomoi chronikai (Columbia Studies in the Classical Tradition) / Ed. Av. Cameron, J. Herrin. Leiden, 1984; Ševčenko I. The Search for the Past in Byzantium around the Year 800 // DOP. 1992. 46. P. 289 f.

³⁹ Haldon J. F. Byzantine Praetorians: An Administrative < Institutional and Social Survey of the Opsikion and Tagmata ca. 580–900 (Poikila Byzantina 3). Bonn, 1984. P. 228 f.; Kühn H.-J. Die byzantinische Armee im 10. und 11. Jahrhundert: Studien zur Organisation der Tagmata (Byzantinische Geschichtsschreiber. Ergänzungsband 2). Wien, 1991. S. 31 u. folg.

⁴⁰ Wichham C. Framing the Early Middle Ages... P. 790.

⁴¹ См.: Oikonomides N. The Role of the Byzantine State in the Economy // The Economic History of Byzantium / Ed. A. E. Laiou. Washington, DC. 2002. P. 990–1019.

⁴² См.: Neville L. Authority in Byzantine Provincial Society, 950–1100. Cambridge, 2004. P. 58–59, 62.

⁴³ Poppe A. Panstwo I koscioł na Rusi w XI wieku. Warszawa, 1968. S. 115–116.

⁴⁴ Литавин Г. Г. Византийское общество и государство в X–XI вв. С. 201.

⁴⁵ Фроянов И. Я. Киевская Русь: Очерки социально-политической истории. Л., 1980. С. 74.

⁴⁶ Лебедев Г. С. Эпоха викингов в Северной Европе и на Руси. СПб., 2005. С. 578.

⁴⁷ Именно такого рода аберрация в отношении этих цифровых сведений до-

пущена в следующей работе: *Нефедов С. А.* Новая интерпретация истории Киевской Руси. URL: <http://hist1.narod.ru/Science/Russia/Kiev1.htm>.

⁴⁸ Что стоит хотя бы тот факт, что в сообщении Лаврентьевской летописи о раздаче Ярославом трети собранной им дани на Новгородчине стоит слово «гридемь», а в аналогичном рассказе Ипатьевской летописи вместо него присутствует термин «тривень» (ПСРЛ. СПб., 1907. Т. 2. С. 81).

⁴⁹ *Греков Б. Д.* Киевская Русь. М., 1953. С. 338.

⁵⁰ См.: *Рыбаков Б. А.* Киевская Русь и русские княжества XII–XIII вв. М., 1993. С. 255; ср.: *Мавродин В. В.* Образование Древнерусского государства. Л., 1945. С. 47; *Он же.* Образование Древнерусского государства и формирование древнерусской народности. М., 1971. С. 9.

⁵¹ См.: *Пашуто В. Т.* Черты политического строя Древней Руси // Древнерусское государство и его международное значение. М., 1965. С. 64.

⁵² *Франклин С., Шенпард Д.* Начало Руси. 750–1200. СПб., 2000. С. 288.

⁵³ *Фроянов И. Я.* Киевская Русь: Очерки социально-политической истории. С. 188 и след.

⁵⁴ Активное участие «воев» в междоусобицах того времени (*Фроянов И. Я.* Киевская Русь... С. 190–192) могло диктоваться в стремлении «людей» определенных волостей компенсировать упадок своих мелких хозяйств установлением гегемонии «своего» князя над другими волостями и землями.

⁵⁵ *Свердлов М. Б.* Общественный строй славян в VI – начале VII века // Советское славяноведение. 1977. № 3. С. 54, 57–58; *Фроянов И. Я.* Киевская Русь: Очерки социально-политической истории. С. 186–188.

Н. И. Девятайкина

**РАННИЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ РЕНЕССАНС КАК СОЦИАЛЬНО-
КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН ПЕРЕХОДНОЙ ЭПОХИ
В ЕГО ОТНОШЕНИИ К ДВОРЯНСТВУ
(ПО ТРАКТАТУ ПЕТРАРКИ
«О СРЕДСТВАХ ПРОТИВ ПРЕВРАТНОСТЕЙ СУДЬБЫ»)**

Проблема переходности эпох ныне входит в число наиболее актуальных как по общественно-политическим, так и по научным причинам. Историки обращаются к разным ее аспектам, о чем свидетельствуют публикации последних лет¹. Ренессанс в рамках этого проблемного поля остается одной из культурных эпох, в трактовке которой понятие «переходность» применяется исследователями в разных смыслах: одни авторы (культурологи, философы) полагают, что вся культура Возрождения остается переходной от средневековой к современной; другие (историки, историки литературы), что переходным можно считать первый этап развития культуры – ранний итальянский Ренессанс, в котором старое соседствует с новым в текстах и мировоззрении. В данной статье ориентиром является подобный подход.